Семен Злотников

# Маленькая смерть

*Часть сборника*
*Как я изменил свою жизнь к лучшему*

SHOUT
SHARE
IT

# Annotation

Ни сном ни духом не помышлял о судьбе литератора. Но в детстве однажды проиграл товарищу спор, элементарно не сумев написать четырех строчек в рифму. С тех пор, уже в споре с собой, он сочинял стихи, пьесы, романы. Бывало и легко, и трудно, и невыносимо. Но было – счастливо! Вот оно как получилось: проиграл спор, а выиграл Жизнь!

- Семен Злотников
  - ○

# Семен Злотников
# Маленькая смерть

* * *

Как-то так отчего-то сошлось, что почти в одно время я похоронил отца, потерял собаку, поссорился с другом и ушел от жены.

Вдобавок в одном из арбатских дворов мне разули колеса, взломали машину, забрали одежду, какую имел, старый портфель с документами: паспорт, военный билет, водительские права, сберкнижку, членский билет Союза писателей СССР, дневники, подборку юношеских стихов, письма любимых друзей и женщин, хранимые мной пуще зеницы ока… плюс черновик неоконченной пьесы: «Уходил старик от старухи».

Удары судьбы, скажем так, пришлись мне под дых, ниже пояса и против ожидания.

Это походило на маленькую смерть.

Как сказал бы мой старый армейский товарищ Андрюша Ширяев: «Судьба спустила штанишки и отшлепала!»

Переходя с армейского языка на арамейский: пять тощих лет сменили пять тучных…

Пропажу болгарской дубленки, венгерских джинсов и монгольского пуленепробиваемого кожаного пиджака я пережил много легче потери писем, стихов, дневников: все же в них была моя жизнь – какая-никакая…

Я и прежде, случалось, без слез расставался с домами, машинами и прочими зримыми аксессуарами благополучия. Уходил налегке в никуда, гордо демонстрируя торжество высокого духа над косной материей.

Вообще, вероятно, в гордости что-то есть еще, кроме глупости и неудобств…

Возможной причиной моей непрактичности были удачные роды (мы с мамой долго не мучились, с ее слов!), а также трудное послевоенное детство, аскетические пятидесятые и блаженные шестидесятые.

Время великих надежд и иллюзий.

Песен, стихов и влюбленностей. Полного пренебрежения ко всему материальному. Демонстративного презрения к мещанскому уюту и благополучию. К роскоши, барству и прочему

прозябанию в сытости и довольстве.

В 14 лет, подражая Рахметову из романа «Что делать?», я морил себя голодом, стужей и спал на полу, усыпанном каменной крошкой (на гвозди, признаюсь, меня не хватило!).

Казалось, я жаждал лишений. Сам их придумывал и преодолевал.

Служба в Советской армии, помню, в сравнении с рахметовской юностью мне представлялась отдыхом в санатории.

Времена изменились, и я повзрослел, а мечты и иллюзии непостижимым образом перекочевали из реальной жизни в пьесы…

И вот я стою у раздетой машины в арбатском дворе, курю одну за другой лучшие в мире сигареты «Opal» и размышляю: как мне дальше быть и что делать?

Под шквалом напастей, обрушенных разом на мою голову, я, пожалуй, впервые всерьез призадумался о хрупкости бытия и переменчивости судьбы.

О том, что не все в моей власти.

И что, в общем-то, нечем гордиться.

О ложных целях, ненужной суете и бездарно потраченном времени.

Еще вчера мне казалось, что я и есть полновластный хозяин собственной судьбы. Сегодня мне дали понять, что это не так…

Среди прочих потерь больнее всего я переживал утрату черновика неоконченной пьесы.

Смерть папы не в счет, эта боль ни с чем не сравнима.

Я, возможно, еще полюблю, и мне выпишут новый военный билет, паспорт и членский билет Союза писателей СССР.

Только пьеса, пожалуй, ко мне не вернется…

Первая запись в моем дневнике появилась давно.

«Муки совести и высота человеческих прозрений погнали Толстого прочь из дому. Вселенское чувство стыда обожгло его душу. Все сделалось стыдным: жена, дом, дети, благополучное существование, статус почти божества, всемирная слава и осознание собственного бессилия в бесчисленных попытках хоть как-то помочь этому миру. Однажды он встал и ушел. Ушел в никуда. Потому что все понял. Понял, что вся наша жизнь – стыд. И не стоит цепляться. И что лучше умереть, чем так жить. Побег для него обернулся Голгофой, крестом, смертной мукой, последним искуплением его персональной вины за все мучения человечества».

Рождение пьесы впору сравнить с рождением человека: так же

болезненно, радостно и непостижимо!

Жаль, не удастся переписать.

Как невозможно войти в одну воду два раза, так нельзя повторить однажды уловленный взгляд, вздох, звук, движение персонажа…

Добрая душа, случайный прохожий с рыжей дворнягой на поводке посоветовал срочно бежать в милицию. «Найти – не найдут, зато справку дадут, что ты не верблюд!» – в рифму высказался старик, будто сошедший с картины Ильи Репина «Иван Грозный убивает своего сына».

В самом деле, подумалось мне, я-то знаю, что я не верблюд, а другие этого могут и не знать… Я и рта не раскрыл, а дежурный ефрейтор, похожий на постаревшую Надежду Константиновну Крупскую, с порога меня попросил особенно не волноваться.

– Можно жить – волноваться, а можно не волноваться – и жить! – изрек он с апломбом, предупредительно подняв указательный палец вверх.

– Да я не волнуюсь, я только хотел… – начал я и осекся, вспомнив первый и второй законы Андрюши Ширяева: 1) угодив в вытрезвитель – молчи, что не пьян! и 2) в психушке забудь про свою адекватность!

– Да тут как бы очередь, мил-человек! – произнес он стыдяще, опять не дав мне сказать.

Пустяшный укор вогнал меня в краску.

Я вспомнил отца.

Ты не лучше других, твердил он, бывало, потому что ты не лучше других. Возьми на карандаш, говорил, заруби на носу, завяжи узелок на память. Целее будешь, дольше проживешь!

Он меня умолял соблюдать колею, ходить в ногу с другими, держаться в узде, не плевать против ветра и дуть на воду, довольствоваться синицей в руке и не пялиться на журавля в небе.

– Ты понял меня? – допытывался он после очередного урока житейской мудрости.

Я, известное дело, кивал, не желая его обижать, но про себя всякий раз повторял, как клятву, что не стану ходить под уздой, дуть на воду и довольствоваться синицей в руке.

Злился и бунтовал против любых установлений и запретов и страстно желал совершить что-то… такое что-то…

Короче, не важно – что! Главное – чтоб совершить!

Например, пробежать быстрее других сто метров или марафонскую дистанцию, полететь на Луну, переплыть океан и даже, если понадобится, погибнуть во имя высокой цели.

Только тут я заметил понуро сидящих граждан под плакатом во всю стену с барельефным изображением огромного профиля Ленина и полным сводом принципов коммунистической морали, столбцами вмонтированных в циклопический череп вождя мирового пролетариата – где-то промежду выпуклыми лобными долями и впуклой затылочной частью головы.

При мысли, что я мог кого-то обидеть, меня тут же кинуло в жар, потом в дрожь. Как в детстве бывало, когда провинишься, я вяло побрел, пристыженно втянув голову в плечи, к единственному свободному стулу под знаменитой ленинской бородкой-клинышком…

Итак, размышлял я, сидя под Лениным и сосредоточенно разглядывая рваную плешь на паркете, самое время осмыслить: что, собственно, я собой представляю и где я теперь?

Лет – 37!

Еще не так много, чтоб так уж бояться…

Но уже не так мало, чтобы не бояться вообще.

Короче, пока не боюсь, но уже страшновато.

По внешнему ряду – имеются плюсы, они же и минусы.

При росте 187 см (что, говорят, хорошо!) я чересчур заметен (что плохо!).

Можно сказать, что я строен, а можно – что худ.

Долговяз и сутул.

И голову держу, по отцовой манере, не совсем прямо.

И профиль не тот.

И морщины на лбу.

И рассеянный взгляд, и растительность на лице, и даже кадык на шее – в точности как у него…

Однажды, по дружбе, меня пожалела сама Анна Борисовна Никритина, вдова замечательного поэта-имажиниста Анатолия Мариенгофа, друга Есенина.

– Семочка, – с милым прищуром сказала она, – вы не красавец, но есть и похуже. И сильно похуже. Я даже не знаю, что лучше!

Можно продолжить.

Пока ничего не болит. Чему немало, возможно, способствуют: ежедневные бег, растяжки, прыжки и бой с тенью – где бы ни находился и по любой погоде. Держу уголок. Без помощи ног лазаю по канату. Могу отжаться от пола 100 раз, присесть и подняться со штангой на плечах весом до 120 кг…

Ну, может, еще поживу – если не случится военных пожарищ, вселенского потопа, страшного землетрясения или ножа в спину.

В личном плане – тоска, по-другому не скажешь.

У меня нет жены, нет детей, нет места, где меня ждут.

Вообще никаких обязательств.

Свободен!

Так, должно быть, себя ощущает человек по выходе из тюрьмы на волю. После долгой болезни. Очнувшись от летаргического сна. Странное, одуряющее состояние – когда ты свободен от всех, и все свободны от тебя…

Наконец: что с карьерой (словечко, однако!).

Пьесы играются в лучших театрах Москвы, Ленинграда, Софии, Праги, Стокгольма, Токио, далее и везде. Кроме Антарктиды. Издаются в престижных журналах и сборниках.

Театральные критики будто бы благоволят и величают чуть ли не лидером «Новой волны».

Храню, как икону, фотографию моего кумира Сергея Юрьевича Юрского с его личным автографом: «Семену Злотникову, драматургу божьей милостью».

С самим богом сцены – Георгием Александровичем Товстоноговым – делюсь, трепеща от волнения, замыслом пьесы «Уходил старик от старухи». Ему интересно, он ждет. Он так и сказал – что он ждет!

С великим Олегом Николаевичем Ефремовым читаем и обсуждаем пьесу «На четвертые сутки после исчезновения».

Небожитель Юрий Петрович Любимов звонит мне на грешную землю и зовет почитать «Сцены у фонтана» на труппе.

Я и прочел. И Таганка проголосовала «за!».

Гениальный, гонимый и несгибаемый Петр Наумович Фоменко в Театре комедии на Невском проспекте репетирует пьесу «Все будет хорошо!».

И действительно: будто бы все хорошо.

Только тогда отчего же мне так худо?..

– Виноват… бога ради… мне тут подсказали… что вы как бы, что ли… должно быть, последний? – услышал я возле себя робкий и нервный одновременно голос существа невнятного происхождения: то ли мужского, то ли женского.

– Последний? – вяло откликнулся я, нехотя отрывая глаза от проплешины в паркете.

– Мне сказали, что вы… или – разве не так? – продолжал вопрошать мужчина с внешностью Владимира Высоцкого, голосом французской певицы Мирей Матье и манерами Акакия Акакиевича Башмачкина из повести Гоголя «Шинель».

– Но если не вы – тогда кто?.. – не унимался Владимир-Мирей-Акакий Акакиевич.

Чем, вдруг подумалось мне, не персонаж с героическим обликом всеми обожаемого секс-символа нашей советской эпохи и манерами всеми отвергнутого и глубоко несчастного титулярного советника?!

– Он, он, он последний, кто же еще! – из-под ленинской мочки откликнулась тетка – страшная, как язва двенадцатиперстной кишки.

– Я буду последний! – произнес я, решительно поднимаясь и жестом любезно приглашая занять мое место.

– Нет-нет, бога ради, вы что! – возопил шепотом мой новый герой, почему-то опять нервно озираясь по сторонам.

Все же, пока я сидел, он не выглядел таким крошечным.

Настоящий Высоцкий, с которым, случалось, мы пересекались в длинных, напоминающих катакомбы, переходах Таганки, казался огромным – аж захватывало дух.

«Последний, последний… – бормотал я, обреченно потягивая «Opal» и уныло меряя шагами внутренний дворик отделения внутренних дел, сплошь усеянный битой керамикой, развороченными рамами, початыми мешками с цементом и прочим строительным мусором. – Последний, последний…» – талдычил я тупо, в попытке восстановить ход своих размышлений.

То ли по врожденной небрежности, то ли следуя инстинкту самосохранения, я не особо задумывался о последствиях землетрясения, обрушившегося на мою голову. Как если бы я, упав со скалы, не заплакал от боли, а стал размышлять о загадках и таинствах бытия.

«Как будет – так будет, – внушал я себе (наверное, чтобы не сойти с ума). – Того, что пропало, уже не вернуть. Бесполезно стенать, рвать на себе волосы, проще забыть, перевернуть страницу и начать жить с чистого листа!»

Голова была полна аналогий – с библейским Иовом (ни меньше ни больше!) и королем Лиром. Сравнение с Лиром мне льстило, с Иовом – давало надежду, что все у меня еще будет… Курить я уже больше не мог, но и возвращаться с улицы в душный предбанник отделения милиции тоже не хотелось.

Время от времени я приоткрывал дверь и проверял движение очереди. Какие-то люди входили и выходили, но меньше их почему-то не становилось.

– Ради писания слов, – неожиданно вспомнился наш последний с отцом разговор перед моим фатальным отъездом из Ташкента, – ради **этого** ты покидаешь старых родителей, дом, любимую женщину, бросаешь нормальную работу на телефонной

станции, дипломный курс института связи, хороших друзей и бежишь как ненормальный неизвестно куда и непонятно зачем?!

Папочка-папа на сто лет вперед пытался меня уберечь от любых возможных падений, вывихов и переломов…

– Ты же умный, представь, – рисовал он унылую картину моего прибытия в Ленинград, – ты представь, как ты вышел из поезда с двумя старыми потрепанными чемоданами. Дождь со снегом, полярная ночь и тоска! Ни жилья, ни работы, ни денег! Куда ты пойдешь? Где будешь спать? И что будешь есть? И кто тебя вдруг пожалеет?..

– Намазюкал, как **этот**, несколько никудышных стихотворений (папа бил прицельно и больно) и сразу решил, что ты (он при этом брезгливо поморщился) – **этот**?.. Ты хочешь быть **этим**? Ты хочешь **им** быть?..

Он настолько не верил в меня, что в горячке не смог вспомнить слова: поэт!

– Да что ты, червяк, о себе возомнил? – вопрошал он, с трудом удерживаясь от крика. – Что ты Господь Бог?

– Ты – никто и ничто! – папа резал правду сплеча. – У тебя нет таланта, нет денег, нет связей! Не знаешь людей и жизни – тоже не знаешь!..

– И даже если представить, что тебя там признают (он почти допустил и такое!) – мы с мамой до этого не доживем. И что будешь делать потом? Придешь на могилку и там нам расскажешь, как ты всех победил? Да все самые-самые слова этого мира, – кричал он, – не стоят одной слезинки твоей матери, чтобы ты знал!..

Так он меня убеждал, просил, требовал и умолял одуматься и не уезжать.

А я в ответ бормотал что-то, тер и прятал глаза, чтобы только не видеть, как он страдает.

Воистину, те несколько часов взаперти с ним показались мне вечностью.

Однако чем больше он уговаривал меня, тем я непреклоннее хмурился и молчал.

Вся океанская мощь отцовой мудрости не могла совладать с утлым суденышком моей фанатической веры в себя. На его стороне был нечеловеческий житейский опыт, а на моей – неуемная жажда свершений чего-то такого… такого чего-то… не важно чего!

Все отцовы предвидения и пророчества, впрочем, сбылись с поразительной точностью: меня в самом деле никто не встречал, дул холодный пронзительный ветер, и с неба валил мокрый снег, и вокруг было много людей, все куда-то спешили, и никому до

меня не было дела.

Возможно, тогда, на холодном перроне, я впервые в жизни испытал чувство бесконечного одиночества…

– Виноват… бога ради… не угостите сигареткой… – послышался сзади слегка дребезжащий голос Мирей Матье (оборачиваясь, я уже знал, что увижу Владимира Высоцкого). – Возможно, что я ошибаюсь, но я… – закурив и покашляв, продолжил мужчина. – Я вижу, как вас что-то гложет… Нет-нет, ради бога, если не хочется!.. – он вдруг испугался, заметив мой взгляд.

– Я все потерял, – пояснил я спокойно.

– Все-все? – почему-то схватившись за голову, переспросил Владимир-Мирей-Акакий Акакиевич.

– Все-все! – также исчерпывающе подтвердил я.

– А я все нашел! – возвестил он со слезами на глазах, откровенностью за откровенность.

Возможно, я слишком еще пребывал под наркозом собственных потерь и не вполне мог соответствовать жгучей, как чувствовалось, потребности одного живого существа отворить душу другому живому существу.

И все же, признаюсь, меня поразила сердечная исповедь незнакомца.

Оказалось, в милицию он заявился, по его выражению: дабы придать земные черты чуду своего преображения – натурально, из мужского обличья в женское.

На мой неолитский вопрос: как он дошел до такой жизни? – Высоцкий-Матье-Башмачкин излился пространным монологом, бесконечно меня тронувшим.

– Все не нравилось, все раздражало! – признался он с неизъяснимой горечью. – Дневной свет казался мне чересчур ярким и резал глаза, а ночной – угнетал, просачивался в душу и томил. Всякое проявление звезд на небе, сколько себя помню, воспринимал как личное оскорбление и старался наверх не глядеть. Но и внизу…

Он понизил вдруг голос до шепота:

– Но и внизу – тут! – ничто не внушало доверия и нагоняло тоску: чередование времен года в той, а не иной последовательности, течение рек в ту, а не в противоположную сторону, четыре угла жилища, навязанных мне от рождения… Жены и дети… – мужчина со стоном схватился за голову, – дети, представьте, и жены!.. Сколько их было, а были – зачем?! Чтобы ранить? Унизить меня? Оскорбить? Подчеркнуть свою правоту и

мою несостоятельность?..

На мгновение он перевел дух и сглотнул слюну.

– Всегдашняя неудовлетворенность собой делала меня невыносимым и для других… Не желаю, – устало взмолился мужчина, – я пить с ними пиво! Выслушивать горький горячечный бред, кто кого и по сколько раз, кивать, ухмыляться, поддакивать и сопереживать пошлости!

– Скажите, что делать, ответьте, как быть, – умолял он меня, – если общение с себе подобными – в тягость мне? Подобие наше зримое, внешнее, по сути же я – один… Я один…

Тут мы с ним закурили еще по одной.

– В дальнем детстве, – продолжил печально Владимир-Мирей-Акакий Акакиевич, – как-то спасала надежда, что разлад мой временный… что все оттого, что я маленький, а они большие. Что есть – я надеялся! – некая тайна, единящая взрослых, этих загадочных, странных существ… Знали бы вы, как мне страстно хотелось, чтобы они, эти существа, и в самом деле оказались странными и загадочными! – воскликнул он в отчаянии. И продолжил:

– Я мечтал об одном: поскорее наконец вырасти, чтобы постичь эту тайну… Постичь! Как постичь? Вырос и понял, что тайны-то – нет?.. И тысячи связей, чужих и ненужных, опутали меня и душат, душат! Или растаскивают по разным сторонам и – глодают, глодают!.. А я, как бы со стороны – всегда почему-то умудряюсь зависнуть над собой со стороны! – разглядываю себя, разъятого, без смысла и значения, и без надежды снова стать мною. Я слышу и помню одно: ты – мужчина! Ты, говорят мне, должен! Я – должен? Кому?.. Говорят, я природой назначен. Назначен? На что? Разве я могу говорить резко и внятно, что думаю? Или поступать, как считаю нужным? Или есть в целом свете хоть что-то, что зависит от меня? Именно от меня. Может быть, погода на завтра? Или будущий урожай? Или – будем дружить с марсианами или воевать? Расписание трамвая, везущего меня на работу? Да хотя бы мое собственное право с надеждой смотреть в завтрашний день? Я и в сегодняшнем запутался, я в сегодняшнем себя не нахожу!!!

Если верить Спинозе, размышлял я, блуждая по тусклым милицейским коридорам, случайностей в мире не существует. Может статься, не так уж случайна и эта случайная встреча с Высоцким-Матье-Башмачкиным.

Имени, жаль, спросить не успел…

Мой Порфирий Петрович, как я моментально, чтобы не

мучиться, окрестил старшего следователя по уголовным делам Арзыбека Аргановича Киргизбаева, оказался гигантом трехметрового роста (ну, может быть, двух, но не меньше), в обхвате с египетскую пирамиду в ее основании. Над бескрайними плечами, увенчанными майорскими погонами, возвышалась величественная, как Сулейман-гора, лохматая голова. Усталые тени вокруг добрых глаз, черный пенек усов, окруженный полянами серой щетины, делали его похожим на старую панду. Занимая два стула, колосс левой дланью величественно опирался о мощную трость на четырех лапах, в то время как правой, подобной ковшу экскаватора, попеременно выуживал из чрева казенного сейфа – то французскую булку, то шмат колбасы.

– Кушить хочишь? – спросил он, едва я вошел.

Как волной окатило из забытого детства!

Ни с чем не сравнимой поры, когда папа был еще жив и мама была молодой… Когда я был в ладу сам с собой. Когда мир казался огромным, а жизнь – бесконечной, и все в ней мне нравилось – «люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитающие в воде»…

Сразу поймет меня разве родившийся в Самарканде и впитавший в себя человеческое тепло Средней Азии и потрясающие запахи восточного базара. «Кушить хочишь?» – звучало на каждом шагу в Бухаре и в Оше, в Ташкенте и в Душанбе. В любом доме, где я появлялся, меня первым делом спрашивали: «Кушить хочишь?»

– Хочу! – кивнул я.

– На! – обрадовался великан.

Странно: легко понять, но нелегко объяснить состояние, когда ты готов открыть душу случайному встречному!

Я сам не заметил, как это случилось, что мы перешли грань обычного между людьми отчуждения и услышали друг друга. Я поведал ему обо всех своих страхах, обидах и болях, комплексах и недовольстве собой, поисках и сомнениях; о смерти отца и тоске по нему, про женщин и жен, про друзей и знакомых и мысли о смерти…

Впервые, пожалуй, я сам (не мои персонажи!) оказался в ситуации, из которой не видел выхода.

Когда умирать неохота, а жить – не хочется.

Как будто завис в пустоте промеж двух пустот: пустоты под названием «тут» и пустоты, именуемой «там».

Где пустей – «там» или «тут»?

Вот в чем вопрос, как сказал бы принц датский…

И невероятным образом во все продолжение моей исповеди

рядом незримо присутствовал – так мне казалось! – Владимир-Мирей-Акакий Акакиевич… Или Высоцкий-Матье-Башмачкин?

Не важно – живой человек.

Наконец, напоследок куснув колбасы, майор попытался подняться на ноги – но, впрочем, осел обратно, так и не преодолев земного притяжения. Заметив мой взгляд, уважительно погладил себя по животу и лукаво подмигнул: «Черчил ти знаишь? Я тожи – как он, очинь тижёлий!»

Я сразу представил Уинстона Черчилля в мундире советского милиционера, изъясняющегося по-русски с киргизским акцентом. Чем не персонаж для современной комедии положений? Еще посадить рядом Сталина, говорящего по-английски с грузинским акцентом, и Рузвельта – по-киргизски с английским…

– Так вы теперь вроде Льва Николаевича Толстого после бегства из Ясной Поляны? – неожиданно произнес он без толики акцента.

– В каком смысле? – опешив, откликнулся я, не зная, чему больше удивляться: сравнению с Толстым или внезапному превращению моего Порфирия Петровича.

– Все бросили, можно сказать, ушли в никуда, – продолжал он, словно не замечая моего растерянного вида. – Разве не так?

Я хотел возразить – что Толстой тут вообще ни при чем… И что я с ним себя не равняю… И что даже не думал… Как если б я вздумал равнять себя с Господом Богом…

– Толстой, – пробормотал я, краснея и запинаясь, – ушел потому, что все понял… В моем случае – без параллелей, – голос у меня предательски задрожал. Лично я вообще перестал что-либо понимать…

– Ладно, итак, возвращаясь к Толстому… – словно назло мне повторил Порфирий Петрович, доставая из сейфа китайский термос с разноцветными дракончиками и бабочками.

– Оставим, прошу вас, Толстого, – вяло выдавил я из себя.

– Аллах килянус, как мой вас уважжяю! И как я Тольстой уважжяю! – натурально возмутился милиционер, осеняя себя термосом, как перстом, крестным знамением. – Хочишь, буду вот етим килянус! – возопил он, потрясая партийным билетом. – Чито, ти моя вэришь ни хочишь?

Я уже был не рад, что, поддавшись настроению, открылся этому странному, без перерыва жующему, существу в милицейской робе.

Так легко запустить к себе в душу первого встречного, ругал я себя!

В свою святая святых, куда не было хода и самым любимым.

Место, где я был собой, без боязни быть преданным.

Где залечивал раны, где мог выживать…

– Вай-вай, рыссырдился, а я пашутиль! – огорчился толстяк, заметив, как я помрачнел. – У нас такуй шюткя, зимляк, ти ни зналь? Папа – кыргыз, мама – рюсский. Мама радиться Москва, папа – Джелалабад. Папа, харёший памить ему, до паследний свуй ден кричаль: «Кушить хочишь, синок?» Мама, тожи харёший ей памить, тожи гавариль: «Сыночка, хочешь поесть?» Магу харёшо гаварит па-кыргызски, – расхохотался, – могу превосходно по-русски! Могу по-русски с киргизским акцентом, а могу – и наоборот! Что ли, мой фирменный знак! – он снова взялся за термос. – Таки что ни обижжяйся, пажалиста, да? – попросил он, разливая чай по пиалам.

На Ленинградский вокзал я попал уже за полночь. Семи рублей, взятых взаймы у гиганта, хватило вполне, чтоб меня пожалела и приютила в служебном купе неподкупного вида проводница.

– Придет контролер, говори, что мой муж! – наставляла она, пряча деньги за пазухой.

– Может, скажем, что сын… – усомнился я вслух, с присущим мне тактом.

– У меня все мужья моложе тебя! – не на шутку обиделась проводница и даже было полезла обратно в бюстгальтер за семью рублями.

Короче, пока я поносил себя и хвалил ее красоту – поезд поехал в Ленинград…

По злой иронии судьбы, иначе не скажешь, я возвращался в то место, откуда уехал, и к женщине, которую более не любил.

И двух дней не прошло после тяжелейшего объяснения, полного обид и безысходности. Еще слышались стоны, еще не забылись проклятья. Еще не остыл холодок расставанья…

Слишком короток – слишком! – путь от любви до ненависти.

Все никак не привыкну к этому внезапному превращению сущего ангела в злобного дьявола, не знающего пощады.

– Лучше бы ты умер! – кричала она вдогонку мужчине (мне), бывшему еще так недавно (она в том клялась!) единственным смыслом ее жизни. – Лучше бы умер, чем ушел! Лучше бы умер!

Абсурд правит миром.

Но мы же любили друг друга?

Мы были близки и нежны? Чего-то хотели, куда-то стремились? Делили судьбу и делились последним?..

Куда все девается, Господи?

«Иногда потерять – все равно что найти!» – вертелся в мозгу под мотив перестука колес незатейливый перл Порфирия Петровича.

За колбасой и зеленым чаем вприкуску с зефиром он советовал мне не цепляться за старое.

– Бери пример с дерева, – говорил он, – оно же не держится за свои пожухлые листья. С птицы, теряющей перья. Со зверя, меняющего шкуру. Они же не плачут, не стонут. Главное – жизнь продолжается! Зиму сменяет весна, за спуском, глядишь, следует подъем, а за падением – взлет. Живой человек, – поучал он меня, – тоже зверь и тоже нуждается в переменах. Ты и сам не заметишь, как вдруг, – предрекал он, – начнется другая реальность!

Приводил примеры из жизни, где все начиналось из рук вон как плохо и потом хорошо заканчивалось.

Вот только вчера, вспоминал великан, приходил человек, восставший из гроба. Леденящая душу история, говорил, волосы дыбом встают, кровь стынет в жилах и мороз по коже…

Ближе к ночи, рассказывал он, мужчина впал в летаргический сон.

Жена, как положено, вызвала «Скорую помощь». Приехал поддатый врач, констатировал смерть. Спокойно, ничтоже сумняшеся, без колебаний.

Спустя тридцать девять дней после «смерти» бедняга-муж очнулся в могиле. Подземные воды проникали сквозь щели в гробу. Жуть, мрак, сумбур и тоска. Зуб на зуб от ужаса не попадал!

В отчаянии он начал кричать. Казалось бы, кто там услышит, на кладбище, кроме ворон?..

– Но чудо – на то оно и чудо, что необъяснимо! – воскликнул Порфирий Петрович и откусил колбасы.

– По чудесному совпадению, – начал он, загибая свои пальцы-бревна, – в ту страшную ночь патологоанатом Боткинской больницы тоже был пьян, и еще безнадежней врача «Скорой помощи»! Зачем-то надрезав несчастного, он дальше не стал углубляться, а сразу заштопал. Я сам видел шрам. Подумать только – ведь он мог его убить!

– Не чудо ли, – заметил гигант, – что жена явилась на могилку в тот час, когда муж пробудился от сна! Ну, пришла бы, – воскликнул мой собеседник, – как все, на сороковой день! Понятно бы, – он повторил со значением, – если бы на сороковой! Но, однако ж, она явилась на тридцать девятый!

– Наконец, – заключил Порфирий Петрович, – разве не чудо,

что он закричал через толщу земную, а она его как-то услышала! Сердцем, должно быть, а как же еще?..

Рассеянно глядя в окно на мелькающие огоньки в ночи, я помалу смирился со всеми потерями.

И даже не так уже жгла утрата черновика неоконченной пьесы.

Из целого акта дословно в памяти сохранилась всего одна фраза моего восьмидесятилетнего героя: «Мне стыдно, что я, написав двадцать книг, почти ни в чем не уверен определенно: что такое любовь? творчество? зачем наши стремления? что наша жизнь?..»

Старый человек, стоя на краю жизни, мучился. Прошедший войну, все познавший, достигший вершины признания – он мучился. Мучился все теми же вопросами, с которыми и явился в мир…

Мне до слез было жалко придуманного мной старого профессора литературы. Наверно, жалея его – я жалел и себя. Это ведь я, написав десять пьес, так и не знаю ответов на вопросы:

что такое любовь?

что творчество?

что наши стремления?

что наша жизнь?

почему я пишу?

и откуда эта неутолимая жажда – выразить себя?

и отчего так мучительно трудно и так уж это необходимо – рассказывать миру мои истории?

и что в них такого, чего мир не видел?

и что я могу, наконец, и чего хочу от людей?..

Я мирно дремал в служебном купе, пока проводница (ее звали Зоя) обносила пассажиров постельным бельем и чаем. Поскольку непроданных мест не оказалось (на них был расчет), нам пришлось разместиться на узенькой полке валетиком. По счастью, мой благородный порыв провести ночь в коридоре она отвергла, коротко приказав: «Ложись давай, тоже мне!» Перед тем как заснуть, впрочем, предупредила: «Гляди не балуй, а то!..»

Я так и забылся, боясь шевельнуться, чтоб ее не обидеть.

Во сне мне привиделась сцена, будто навеянная фильмами моего любимого режиссера Ингмара Бергмана, либо полными мистики повествованиями добрейшего Порфирия Петровича, снабдившего меня последними деньгами и справкой с печатью о том, что я не верблюд.

Подобно гигантской марионетке, я висел над кладбищем и внимательно наблюдал за женщиной, отчаянно выгребающей

землю из могилы.

«Митенька, Митя… – бормотала она, не сдерживая рыданий. – Сейчас, потерпи, я сейчас… достану, спасу, я сейчас… Будем жить… будем жить с тобой, жить… Как похоронила тебя… так все места себе найти не могла… все ругала себя, что моя вина… Ругались – чего там?.. Чего нам было делить? Как малые дети, – горько всхлипывала она, машинально рукой убирая волосы со лба и размазывая грязь по лицу. – Неразумные дети… так трудно понять… что живем один раз… и любим по-настоящему один раз… Так трудно понять… Митенька, трудно понять… – потерянно повторяла она, без устали орудуя окровавленными руками. – Это я поняла… когда вдруг осталась одна… без тебя, Митя, я… Я без тебя не хочу, Митя… этот мир без тебя я не представляю…»

Постепенно, помалу, как мне вдруг почудилось, к ее голосу стали примешиваться и другие женские и мужские голоса: «Мишенька, – слезно взывали они, образуя хор, – Сонечка, Танечка, Петечка!..»

Неожиданно я ощутил, как некто невидимый стремительно и плавно вознес меня высоко над землей, полной молящих о прощении людей…

– Эх ты! – пробурчала мне на прощание Зоя, когда я ступил на перрон Московского вокзала в Ленинграде. – Эх ты! – отчего-то тоскливо бросила вслед…

На дворе стоял ласковый день, и спускаться в метро не хотелось.

Обойдя по кругу площадь Восстания, я насладился прогулкой по Невскому, повернул на Литейный и так же неспешно добрел до Каляевой.

Не успел я войти в квартиру и прикрыть за собой дверь, как зазвонил телефон.

– Извиняюсь, пожалуйста, – звонко и радостно зажурчало в трубке, – я попала в квартиру драматурга товарища Злотникова?

В последнее время с похожим вопросом ко мне обращались завлиты или их помощники из провинциальных театров. Было время, когда я не мог к ним пробиться и уговорить прочесть пьесу. Оставлял рукопись в служебной проходной у вахтера и через какое-то время оттуда же забирал. Без слова поддержки, похвалы или хулы. Воистину, участь начинающего автора можно сравнить с судьбой законченного мазохиста: оба себя добровольно обрекают на боль и страдания. С той разницей, что один при этом испытывает кайф, а другой – танталовы муки…

– Вы попали, – ответил я мрачно.

– Извиняюсь, пожалуйста, к драматургу товарищу Злотникову, да? – уточнил девичий голосок.

– Да, да! – дважды любезно откликнулся я.

– К самому-самому, извиняюсь, товарищу драматургу Злотникову, что ли? Товарищу Семену, да? – как будто засомневались на другом конце провода.

Вот, подумал я, дожил! Так уважительно и подобострастно со мной до сих пор не разговаривали.

– Послушайте, девушка, – произнес я как можно доброжелательней, – вы из какого театра?

– Известное дело, из драматического! – почему-то обиделась девушка и важно прибавила: – Минуточку, передаю трубочку нашему товарищу са-амому главному режиссеру.

– Бля буду, не знали, что ты – это ты! – смачно и властно произнес Константин Сергеевич Станиславский, как я про себя немедленно окрестил главного режиссера.

– Я – это я! – подтвердил я с достоинством, впрочем, уже заподозрив неладное. – Что дальше?

– А дальше, мужик, – тишина! – засмеялся са-амый главный режиссер, случайно или ненароком припомнив название нашумевшего спектакля с Раневской и Пляттом.

– Уходил старик от старухи, мужик! – коротко, как пароль, произнес Станиславский.

Термоядерный взрыв, сотрясение недр, вселенский апокалипсис меня бы не так впечатлили, как эти четыре слова: **уходил старик от старухи**… **уходил старик от старухи**…

С замиранием сердца я слушал и не верил своим ушам. Отвечал что-то, не понимая, что говорю.

И даже сейчас, когда все позади, боюсь, что мне это приснилось…

Завершив разговор, я долго не мог успокоиться.

Бестолково бродил по квартире, больно шлепал себя по ногам и груди, выкрикивал что-то, давая выход энергии, и до одури молотил голыми руками по самодельному боксерскому мешку. Наконец, обессилев, рухнул на ковер и, точно как папа бывало, по-хорошему попросил: «Пожалуйста, Господи, пугай, только не наказывай!»

Не прошло и минуты, как я на кухонной двери обнаружил записку.

«Бегу, – отчего-то прочел я с восторгом, – прости! Интервью с капитаном Конецким. С обедом не жди. На плите грибной супчик с лапшой. Как ты любишь. Еще не остыл. После спрячь в холодильник. Целую. Я».

Супчик на радостях я разогрел, но есть почему-то не стал.

Подняв крышку кастрюли, долго разглядывал мутную жижу, словно пытаясь в ней что-то понять. Так, бывает, в музее стоишь перед знаменитой картиной и силишься сообразить: и чего в ней такого?..

Безоглядная ярость меня охватила, когда на пороге купе поезда, везущего меня из Ленинграда в Москву, возникла жена с кастрюлей, полной грибов и лапши.

– Не могу! Не хочу! – застонал я в отчаянии, срываясь в крик.

– Сами просили чаю и сами кричите… – неожиданно расплакалась юная, волоокая проводница с румянцем во всю щеку.

– Извините… подумал, жена… – пробормотал я, смутившись.

– На жену, значит, можно, жену вам не жалко? – вконец разревелась девчушка.

Вид плачущей женщины невыносим, правда!

Особенно – малознакомой…

Я привлек ее мягко к себе, по-дружески, и попросил не реветь. Как ни странно, она не противилась, а только обвила меня цепкими руками и, уткнувшись носом мне в грудь, придушенно разрыдалась.

– Я зла между мной и тобой не хотел… – бормотал я, желая ее успокоить.

– И я, – откликалась она, – не хотела, я тоже…

– Я хотел быть только с тобой, только я не хотел… – пытался я ей (и себе!) объяснить, но ни чего отчего-то не получилось.

– Быть с тобой, быть с тобой, – будто вторила эхом она, – я хотела с тобой…

Мы были чужими, далекими, близкими, родными.

Нам нечего было делить и нам было легко говорить и слышать, понимать и прощать. В конце-то концов, не я пренебрег ее супчиком! Наверняка и не я был причиной страданий этого юного существа в суконной форме Северо-Западного РЖД. По счастью же, и не она была той, кто желал моей гибели.

Не было между нами пропасти близости…

Ровно в полдень следующего утра, согласно назначенному, я стоял, как и было приказано, на перроне метро Белорусского вокзала, у последнего вагона.

Ровно в 13.00, когда я, отчаявшись ждать и ругая себя последними словами за всегдашнюю легковерность, дернулся, чтобы уйти, ко мне подошел миловидный подросток и знакомым до боли журчащим девичьим голоском произнес, как пропел:

«Уходил старик от старухи!»

– Вы? – вопросил я уныло, не зная, чему больше огорчаться: тому, что девочка вдруг оказалась мальчиком, или тому, как ладно гляделись на нем мои новенькие венгерские джинсы и мой же монгольский пиджак из пуленепробиваемой кожи.

– Ну, что ли, пройдемте! – позвал мальчик-девочка, в терминах бывшего НКВД.

Пробираясь наверх через толпы людские, я больше всего боялся отстать и потерять из виду моего неожиданного Вергилия.

Благополучно покинув метро, миновав стоянку машин, наконец, мы достигли гранитного монумента Максиму Горькому. Он печально смотрел в убегающую даль Ленинградского проспекта и вовсе не выглядел мятежным соколом. В нескольких метрах, наискосок, в тени развесистой липы, на зеленой скамейке меня поджидал человек, больше похожий на создателя театра социалистического реализма, чем на основателя Московского Художественного театра. Настоящий Станиславский, подумалось мне, назначил бы встречу у Чехова…

– Бля буду, не знали, что ты – это ты! – как бы с сожалением повторил Константин Сергеевич Станиславский, немедленно мною переименованный в Алексея Максимовича Горького.

– Я – это я… – подтвердил я, уже без вчерашней уверенности.

## *Эпилог*

Спустя девять месяцев после бегло описанных мною событий в молодежном театре на Фонтанке состоялась премьера моей новой пьесы «Уходил старик от старухи». Я сидел, как обычно, в последнем ряду (чтобы видеть все поле сражения!) и от переполненного сердца благодарил Алексея Максимовича (в прошлом Константина Сергеевича) за исчерпывающую рецензию прочтенного им черновика.

– Чо, клево! – прошамкал ворюга, тасуя колоду моих документов: паспорт, военный билет, водительские права, сберкнижку, членский билет Союза писателей СССР.

## *И еще эпилог*

Я опять полюбил! Чуть не забыл сказать…